

# БЛОК И МАРИЭТТА ШАГИНЯН

Сообщение И. С. Зильберштейна

Получив в октябре 1978 г. сентябрьский номер журнала «Новый мир», я в первую очередь стал читать воспоминания Мариэтты Шагинян «Человек и время», где, в частности, шла речь о ее общении и переписке с Блоком. К этому времени мы вместе с Л. М. Розенблюком уже завершили подготовку 89-го тома «Литературного наследства» — «Александр Блок. Письма к жене», а в 1978 г. вплотную занялись созданием 92-го тома — «Александр Блок. Новые материалы и исследования».

Читая воспоминания Мариэтты Сергеевны, я заинтересовался одним из ее любопытных сообщений: видимо, в апреле 1921 г. она отправила Блоку несколько своих небольших пьес с просьбой прочитать и высказать свое мнение о них, а 22 мая Блок послал Шагинян подробное письмо с оценкой ее пьес. Далее Мариэтта Сергеевна говорила: «На письмо, я ответила, лично снесла его Любове Дмитриевне, но не получила уже ответа ни письменного, ни устного, а С. Алянский сообщил мне, что письмо, по всей вероятности, и вовсе не было передано Блоку!»

Отмечу кстати, что С. М. Алянский, издатель и близкий друг Блока, в своей известной книге о встречах с поэтом рассказал, с каким вниманием и одобрением относился Блок к творчеству М. Шагинян: «Однажды Блок спросил: „Знаете ли вы писательницу и переводчицу Мариэтту Шагинян? Она прекрасно перевела тетралогия Рихарда Вагнера „Кольцо Нибелунгов“. А недавно она прислала мне сборник своих пьес. Я читаю их сейчас, она очень талантлива».

А спустя несколько дней Александр Александрович опять заговорил о Мариэтте Шагинян: „Я прочитал пьесы Шагинян. Не знаю, сможет ли использовать их театр, но некоторые из них, по-моему, хорошо бы напечатать в „Записках мечтателей“. Я очень рекомендую напечатать в ближайшем номере лучшую из этих пьес. „Чудо на колокольне“ — это очень талантливо, — повторил он. — Я написал свой отзыв. Будьте добры, передайте ей рукопись, она пойдет к вам в книжный пункт».

А еще через несколько дней Александр Александрович спрашивал, меня через Любовь Дмитриевну, успел ли я сдать в набор пьесу «Чудо на колокольне» в очередной номер «Записок мечтателей».

Пьеса Мариэтты Шагинян «Чудо на колокольне» была напечатана в № 5 «Записок мечтателей», вышедшем уже после смерти Блока, в 1922 году» (С. А л я н с к и й. «Встречи с Александром Блоком». — В кн.: «Александр Блок в воспоминаниях современников», в 2 т., т. 2. М. 1980, с. 317—318).

Прочитав строки М. Шагинян о не дошедшем, по ее мнению, письме к Блоку, я вспомнил 1939-й год: именно тогда, выполняя просьбу директора Государственного литературного музея В. Д. Бонч-Бруевича, я добился от Любове Дмитриевны Блок согласия на передачу в этот музей эпистолярного архива Александра Александровича, где в основном находились обращенные к нему письма. Всего в том эпистолярном архиве оказалось около 2500 писем (ныне они входят в состав Центрального государственного архива литературы и искусства СССР). О том, как перешла на государственное хранение эта часть архива одного из самых выдающихся поэтов нашего века, я рассказал в своих воспоминаниях, озаглавленных «О встречах с Любовью Дмитриевной Блок и о судьбе хранившегося у нее архива поэта», напечатанных в 89-м томе «Литературного наследства».

Читая в «Новом мире» главу о Блоке из книги Мариэтты Шагинян, я не мог, конечно, вспомнить, сохранились ли ее письма в бумагах поэта. Но взяв в руки выпущенное ЦГАЛИ в двух книгах описание автографов переписки Блока, находящихся в различных государст-

венных хранилищах нашей страны, я во второй из них увидел аннотации двух писем, присланных ему Мариэттой Шагинян, причем второе письмо оказалось тем самым, которое она считала до Блока не дошедшим.

Сделав копию этого обширного и интереснейшего ее обращения к поэту, я решил сообщить Мариэтте Сергеевне, что в бумагах Блока сохранилось то ее письмо, которое она считала утраченным. Но так как мы не были знакомы, позвонил К. Б. Серебрякову, биографу писательницы, с которым ранее общался. Вскоре, навестив ее в больницу и рассказав о моей, как он говорил, находке, Константин Багратионович сообщил мне, что Мариэтта Сергеевна будет рада, если зайду к ней в больницу 27 февраля 1979 г.

Для меня эта первая встреча остается до сих пор незабываемой. По просьбе Мариэтты Сергеевны я прочитал очень медленно то ее письмо, которое она отправила Блоку 58 лет назад. Чувствовалось, что это доставило ей большую радость. И когда я попросил разрешения опубликовать это письмо в нашем 92-м томе, она незамедлительно ответила согласием.

В следующем 1980-м году вышла в свет отдельным изданием книга ее воспоминаний «Человек и время», где Мариэтта Сергеевна, приводя текст последнего письма к ней Блока, сделала такое примечание: «На это письмо А. Блока я ответила длинным посланием, которое считала пропавшим. Но совсем недавно, весной 1979 года, когда я лежала в больнице, ко мне пришел известный литературовед И. С. Зильберштейн и сказал, что это письмо он нашел в архиве Менделеевых. Этот документ будет опубликован в «Литературном наследстве» А. Блока, готовящемся к печати» (с. 653).

Вот текст этого письма:

24—V—1921

Многоуважаемый Александр Александрович, сегодня мне принесли Ваше письмо, и я не знаю, как и благодарить Вас за все, что Вы в нем написали, а главное за то, что так скоро прочитали пьесы.

Только в одном Вы, пожалуй, ошиблись (лестным для меня образом!): «Не особенно органический язык», «недостаточная пристальность взгляда» — у меня вовсе не почетный порок символистов, преодоленный сильнейшими из них в настоящий классицизм. Это у меня не «печать школы» и не временное несовершенство, а самое тяжелое личное бремя, которое преодолеть мне не суждено; я могу лишь постепенно создать себе условный стиль из стремления его преодолеть; стиль этот всегда будет полуживым и только карабкающимся к последней правде, но ее никогда не дохватывающим. Дело в том, что у меня *матовое* восприятие мира (плохо слышу и вижу), и нет *своего* языка. Органичен язык лишь тогда и там, где он *речь*. Но я не знаю *речи*; остатки своего слуха я невольно приспосабливаю к бескрасочному услышанию, то есть напрягаюсь услышать, что мне сказали, а не как; на музыку, на связь, на очарование речи уже ничего не остается, ибо внимание приковано неизбежно к понятиям. И вот, постоянно силясь *понимать*, я неизбежно разучаюсь *слушать*. Где уж тут питаться живой органикой речи! Остается книга, и свой собственный «потенциал». Но через книгу и от книги (даже самой стихийно-народной) родится только «книжность и производность» (< . . . > Ваше письмо так человечно-просто и так прямо, что не могу не ответить на него с такой же прямоотой и не условно-поверхностно, а по существу.

Не считите эту откровенность неуместной и скороспелой хотя бы и потому еще, что ведь я-то знаю, *кому* пишу и при этом вижу Вас. С Вашими «Двенадцатью» связано самое глубокое, что пережито мной последние пять лет. При каждой встрече с Вами я хотела и не решалась задать Вам один вопрос; не без робости задаю его сейчас, в письме: Почему Вы нынче отрекаетесь от Правды с большой буквы (увиденной поэтом) ради правды с маленькой буквы, видимой всем людям? «Двенадцать» вовсе не о России (как Вы допускаете теперь толковать), но о революции. О том мгновении революции, когда — именно только на мгновение и *не* в плане истории — «абсолютное» притягивается к «относительному», дотрагивается до него, и начинает казаться, что дальше все будет по-иному. Это мгновенье обжигает душу и исчезает. Вы — единственный русский поэт ныне — запечатлели это мгновенье так, как оно было. Для меня «Двенад-

цать» — символ веры, художественная формула сокровеннейшего религиозного опыта, который пережили немногие из нас, «интеллигентов», и почти все «простонародные» души в Октябрьскую революцию. Вы дали тончайшую, точнейшую реакцию на реальнейшую, но невесомую и невидимую действительность. Люdiam, пережившим ту правду, Ваши «Двенадцать» были связью, встречей друг с другом. Я жила на юге России, в самом глухом одиночестве, и когда контрабандой (через украинскую границу) к нам из красного Харькова в белый Ростов завезли скверную перепечатку «Двенадцати» Блока и она попала мне в руки, я (простите мне эту неприличную нескромность) молилась Богу над нею и плакала от счастья, что Вы увидели и воплотили<sup>1</sup>. Потом дошла до нас и Ваша статья, кончающаяся заповедью «слушайте музыку революции». Вы ведь не только «гуляка праздный», забывающий все свои вчера; Вы умны, как Пушкин, у Вас ясное сознание, и Вы эту ясность отлагаете в кристаллах мысли. Почему же сейчас эта ясность уступила «здравому смыслу», и Вы стараетесь сами себя предать? Ведь это чушь, что «революции больше нет», что «большевизм выродился» и т. д. Какое нам-то (и Вам — ясно видящему!) до этого дело! Да разве мы газетчики или лекари, чтоб считать пульс и смотреть на сыпь?

Историческое христианство прибавило только одну мудрость к личной мудрости Христа: оно дало от себя на нее ответ «credo ad absurdum». Оно доказало этим ответом, что полюбило и познало сущность любви. Если Вы увидели в земном лице свет Божий и этот свет полюбили, то что Вам за дело, что лицо девочки стало лицом бабищи, расплылось, обрюзгло, одряхлело. Для Вас не это было светом и без этого останется свет, если Вы любите. Ибо сущность любви — видеть и верить нетленно, до абсурда (абсурд этим и снимается). Революция исказилась, расплющилась, изнемогла, глядит не теми глазами. Что из того? Она дала нам пережить чудо, и надо возлюбить ее до конца. Тот, кто, увидев через нее свет, от нее сейчас отрекается, — отрекается от лучшей части своего духа.

Ради Бога простите меня, что я пишу все это. Простите хотя бы потому, что это мне больнее, чем Вам даже; и дороже, нежели Вы сами себе. Я не могу выносить собачьего лая, в котором мы все сейчас живем. Н и к а к о е внешнее насилие большевиков н и к о г д а не насильственнее для меня этого нашего лая, который держит душу и сознание в пределах какого-то кучега радиуса обыкновенного зренья на вещи, ну ни дать ни взять в длину собачьей цепи от конуры и до плошки с водой. Ведь это изо дня в день гипнотизирует, насилует и умаляет. То, что видно из конуры, — всякому видно. Этого ли зренья Вы взыскуете? Вы видели больше них. И вдруг, увидев меньше, подумали, что «ошибались»? Неужели А. Блоку надо отчитываться перед собачьей будкой за то, что он проливался без цепочки на шее?

Кончаю, т. к. боюсь, что переступила за черту сдержанности, одинаково чтимой и Вами, и мною. Если я глубоко неправа, а Вам станет досадно — простите обиду, ревнующую о Вас же. А если мы окажемся настолько разными, что просто не понимаем друг друга, — пусть это письмо будет как бы и не было.

М. Ш а г и н я н.

Р. С. Я взяла у Гржебина на несколько дней единственный экземпляр *Orientalia* (с которого он должен снять копию) и посылаю его Вам. Загляните в него, если захочется. Это тоже попытка найти свой язык — и тоже только попытка.

М. Ш.

От этого письма веет предельной сердечностью, смелостью и тактичностью по отношению к адресату; и вместе с тем удивительной прозорливостью в оценке поэмы «Двенадцать». Горь-

<sup>1</sup> Ведь «Двенадцать» на самом деле не о них, а о нас, — о душе, которая поняла революцию, как чудо, и так поняв — уже и совершила ее.

что и убедительно Мариэтта Сергеевна отстаивает великий непреходящий смысл революционной поэмы Блока перед прославленным автором. В книге «Человек и время» (М., 1980) М. Шагинян приводит свои дневниковые записи 1921 г., которые объясняют причины такого заступничества. Речь шла о слухах об изменении идейной позиции Блока, будто бы пересмотревшего и свое отношение к «Двенадцати». «Подобные слухи,— разъясняет далее М. Шагинян,— распространялись в то время реакционными кругами, я записала их с внутренней болью и возмущением, что нашло отражение в моем последнем письме к Блоку» (с. 655).

Что же касается сборника стихотворений Шагинян «Orientalia», выпущенного петроградским издательством Зиновия Гржебина в 1921 г., то Мариэтта Сергеевна по этому поводу в своих воспоминаниях говорит следующее: «Я не была еще коммунисткой и верила в бога, носила крестик на шее, меня помнили как символистку, автора „Orientalia“ (<...>) и мне ни на грош не поверили — не поверили в мой фанатический и религиозный большевизм и сразу наклеили ярлык на меня, как „продавшуюся большевикам“». В ее письме Блоку в полной мере нашел отражение ее „религиозный большевизм“.

Со дня отправки этого письма прошло немногим более двух месяцев, и Блок скончался. На похоронах была и Мариэтта Сергеевна. А то, каким это стало для нее великим горем, как она переживала эту утрату, запечатлено в дневнике Андрея Белого. Вот эта запись от 19 августа 1921 г.: «Был у Мариэтты Шагинян; она 2 дня плачет о Блоке; рассказывала мне, что ее мучат угрызения совести. Блок ей уже во время болезни послал очень нежное письмо; она же под влиянием своего впечатления от последних сомнений Блока (общественных) написала ему бурное письмо; и потому мучалась все 2 месяца; она видела Евангелие Блока с его пометками; и говорит: «Он был в подлинной Церкви». Под Церковью же она разумеет нечто «свое» (т. е. Христово, а не христиан-ское»). Упрашивала меня прийти к ней и говорить ей о Блоке (что я о нем знаю); я ей ответил: „Да ведь у меня слов о Блоке — тома на два; что же мне сказать?“» (наст. том, кн. 3, с. 797).

В дальнейшем Мариэтта Сергеевна несколько раз выступала в печати с восторженными оценками творчества Блока, и, в частности, поэмы «Двенадцать». Так, ознакомившись с появившимся в печати текстом выступления Блока перед актерами в Большом драматическом театре в связи с постановкой «Короля Лира», Шагинян написала статью «Поэт и театр», которая была напечатана в петроградской газете «Жизнь искусства» (№ 804, 16—21 марта 1921 г.). Выпуск этого номера, видимо, очень задержался. Поэтому Мариэтта Сергеевна завершала статью такими словами: «Я дописываю эти строки, когда иная „сухая горесть“ вошла нам в душу: умер поэт, произнесший эту формулу, ушел чистейший, благороднейший поэт современности, и мы должны выпить горькую чашу без единого „увлажняющего“ умиления. Слезы наши не облегчат нас — они выедят нам глаза. Перед горькой тайной этой утраты нам остается только один завет. Возвыситься до античности. Очиститься безысходной горечью». А примечание к этим строкам гласит: «Статья эта подготавливалась еще до кончины того, о ком она говорит. Автору пришлось дописывать ее под свежим впечатлением невозвратимой утраты».

Когда Мариэтта Сергеевна прочитала в первом номере журнала «Печать и революция» за 1923 г. рецензию С. Боброва на последний лирический цикл Блока «Седое утро», вышедший отдельным изданием в 1920 г., она решила выступить с гневной отповедью. Приведем несколько отрывков из этой статьи Шагинян, в которой она с полным основанием обрушилась на злобную рецензию: «Уж так устроен человек, что от боли — любовь еще острее, и через боль — острее знание любимого. Когда сумасшедшие или идиоты заносят руку на общечеловеческую святость, сердце лишней раз напоминает Вам об ее ценности. Бобров, напечатанный в московском журнале „Печать и революция“ рецензией на „Седое утро“ Блока, не заслуживает, конечно, громкого названия „сумасшедшего или идиота“. И далее: „Я сказала: бедный рецензент. Пожалею его. В этой рецензии будет казнь на годы и годы самому Боброву. Мы же, обожженные болью, с новою нежностью вступим в „Седое утро“ Блока. После „Ночных часов“ я не знаю более пророческого, более мудрого, более насыщенного днями и скорбью „утра“, нежели этот строгий сборник».

Статья предназначалась для газеты «Жизнь искусства», но там не появилась (по мнению В. Н. Орлова, редакция не желала вступать в конфликт с новообразованным влиятельным журналом). Эта статья Шагинян была напечатана в сборнике сообщений В. Н. Орлова «Здравствуйте, Александр Блок», вышедшем в 1984 г.



М. С. ШАГИНЯН

Дружеский шарж Н. Э. Радлова  
1930-е гг.

биографы о нем не знают, но в донских архивах можно это продолжение разыскать. Я написала рецензию на „Двенадцать“ как только мы с Линой вернулись с темерницкого собрания. Не верилось, что будет эта рецензия напечатана, но „Приазовский край“ напечатал ее. («Человек и время». М., 1980, с. 609, 613).

Таковы те документальные данные, которые могут служить дополнением к тому, что Шагинян высказала в письме к Блоку о его поэме „Двенадцать“.

Во время нашей встречи в больнице Мариэтта Сергеевна сказала, что, когда она вернется в свою квартиру, просит меня придти, так как хочет подарить мне свои книги.

15 апреля 1979 г. я пришел к ней. И тогда она передала мне две книги — «Ленинлану», вышедшую в 1977 г., и первый том избранных произведений, вышедший в 1978 г. На форзаце первой книги — надпись: «Дорогому Илье Самойловичу Зильберштейну, — которому мы, писатели, обязаны многим и многим, — с глубоким уважением Мариэтта Шагинян. 15 IV 79». На форзаце второй книги: «Дорогой Илья Самойлович. Мне было бы очень дорого, если бы Вы прочитали мою „Перемену“. Ваша Мариэтта Шагинян 15 IV 79».

С благодарностью принимая этот подарок, я выразил ей сердечную признательность за то, что в книге «Четыре урока у Ленина» она дала столь высокую оценку 72-му тому «Литературного наследства» — «Горький и Леонид Андреев. Незданная переписка». Вот отрывок из того ее отзыва: «В 1965 году вышла книга, очень помогающая хорошо понять Горького и любовь к нему Ленина. Это — семьдесят второй том „Литературного наследства“, содержащий незданную переписку Горького с Леонидом Андреевым. Трудно найти еще пример в мировом эпистолярном наследии, где было бы больше блеска, остроумия, веселой молодой жизнерадостности и драматического развития конфликта двух разных индивидуальностей, сперва как будто растущих из одного и того же корня (реалистического понимания искусства и революционного отношения к самодержавному русскому строю); потом — не сразу, а ступень за ступенью, трещина за трещиной раскрывающих чуждость этих друзей друг другу, —

Что же касается беспредельно восторженного отношения Мариэтты Шагинян к поэме «Двенадцать», то оно было ей присуще со времени первого знакомства с этим замечательным творением Блока. Вот что она говорит о своем пребывании в 1919 г. в Ростове, где тогда находились денкинские войска: «И случилось в те годы под белыми событие, одно из многих таких же. Люди собирались тайком в подполье, беспартийные люди, чтоб отвести душу, побыть вместе, в единомыслии, в единочувствии. Был такой привал для нас с Линой в комнате железнодорожника-большевика, в окраинном грязном рабочем квартале Темернике. Мы тоже пробирались туда изредка <...> Долго за ночь, когда уж беседа умолкла, спдело собрание. Разбирали заветные книжки, привезенные из Советской России... Когда же впервые, контрабандой пробравшись через кордоны, зазвучали в маленькой комнате слова „Двенадцати“ Блока, встало собрание, потрясенное острым волнением. Лучший поэт, чистейший, любимейший, дитя незакатных зорь романтической русской стихии, он, как верная стрелка барометра падает, падает к „буре“ орлиным певцом ее! Он, тончайший, все понимающий, — с нами! И любовь, как горячая искра, закипала слезами в глазах, ширила сердце». И далее: «Еще до изгнания денкинщины событие с подпольным чтением „Двенадцати“ имело продолжение. Мои

одного настоящего самородка из народа, для которого его позиция в искусстве и политике была продиктована классом и коренилась в глубине сознания; другого — бунтовщика лишь по видимости, по молодости, с натурой по сути путаной, с воспитанием и бытом богемно-мещанским и с двигательной пружинной поведенья — тцеславием...»

Мариэтта Сергеевна оживилась и горячо сказала, что прочитала множество писем Горького, но его письма к Леониду Андрееву считает самыми интересными. Спросила, где находятся автографы этих писем. Я сказал, что подлинники 93 писем хранятся в Нью-Йорке, в Колумбийском университете, и благодаря выдающемуся американскому слависту профессору Вильяму Эджертопу я получил фотокопии их. А в Женеве автографы 10 писем хранились у Вадима Андреева, старшего сына писателя. По моей просьбе он прислал их фотографии. Эти 103 письма и составили первооснову нашего 72-го тома.

Сообщила Мариэтте Сергеевне, что в своих статьях и рецензиях на 72-й том не только советские исследователи, но и в Венгрии, Италии и Чехословакии высоко его оценили.

Чтобы Мариэтта Сергеевна знала, как отнесся к этому тому Вадим Андреев, я захватил с собой его книгу «Детство», выпущенную издательством «Советский писатель» в 1966 г. Показал ей дарственную надпись на книге: «Илье Самойловичу Зильберштейну с восхищением перед его неукротимой энергией и благодарностью за его великолепную работу над перепиской Андреева и Горького, с самым дружеским чувством. Вадим Андреев. 6 октября 1966 г. Женева».

Поразил меня тот интерес, какой проявила во время нашей беседы Мариэтта Сергеевна ко всему новому в области советского литературоведения, и я назвал несколько книг; попросила сообщить, какие очередные тома «Литературного наследства» мы готовим; спрашивала о содержании наших блокловских книг; попросила рассказать о моих встречах с русскими парижанами, в частности, Зиновием Пешковым... И не верилось, что Мариэтте Сергеевне уже 90 лет.

В конце нашей беседы она передала мне присланные ей из Архива Горького выписки из протоколов заседаний редакционной коллегии «Всемирной литературы», где идет речь о Блоке и о ней. Вот что сказано в этих выписках:

*«8 февраля 1921 г.: «Присутствовали Блок, Браудо, Вольтинский, Гумилев, Крачковский, Замятин, Лернер, Лозинский.*

*«...» 2) Сообщение Блока о том, что М. Шагинян, которой было поручено просмотреть перевод „Кольца Нибелунгов“ Вагнера, заявляет, что перевод нуждается в значительной переработке. По мнению Блока, Е. М. Браудо и Зоргенфрея, редактировавшего работу Свиридовой, перевод сделан талантливо. Самый главный его недостаток тот, что ритм не везде выдержан.*

*Постановили: Ввиду того, что книга уже набрана, просить М. Шагинян отметить те места, которые она считает необходимыми изменить и затем передать ее работу на просмотр поэтической коллегии и Е. М. Браудо».*

*18 февраля 1921 г.: «Присутствовали: Блок, Браудо, Владимирцев, Вольтинский, Крачковский, Гумилев, Лозинский.*

*«...» 5) Сообщение Блока о том, что М. Шагинян просмотрела первые листы «Золото Рейна» Вагнера, причем все свои замечания представила на отдельных листках.*

*Постановили: просить Блока просмотреть все замечания Шагинян и доложить о них в Коллегии в одном из ближайших заседаний».*

*22 февраля 1921 г.: «Присутствовали: Блок, Браудо, Вольтинский, Замятин, Крачковский, Лернер, Лозинский.*

*«...» 2) Сообщение Вольтинского о том, что он прочел статью или, вернее, дневник Шагинян, написанный ею во время пребывания ее в Германии. Статья написана очень литературно и талантливо. Самому Гете посвящены только последние две тетради. Принять статью как предисловие к произведениям Гете докладчик не находит возможным, так как тема недостаточно разработана. А. Л. Вольтинский предлагает поручить М. Шагинян предисловия и вступительные статьи к другим каким-нибудь авторам.*

*Постановили: Принять к сведению и предложить заведующим отделами подобрать материал для передачи заказа Шагинян.*

3) Сообщение Волынского о том, что в Редакцию поступили две вступительные статьи Шагинян к «Истории тринадцати» и к шести повестям Бальзака.

*Постановили:* передать на просмотр Гумилеву.

4) Предложение Гумилева о передаче М. Шагинян редактирования «Мадемуазель де Мопэн» Т. Готье.

*Постановили:* Принять.

<...> 6) Сообщение Блока о том, что переданная ему на просмотр работа М. Шагинян по редактированию «Золота Рейна» Вагнера в переводе Свиридовой произведена, по его мнению, очень тщательно и талантливо. А. А. Блок предлагает поручить М. Шагинян закончить редактирование тетралогии Вагнера.

*Постановили:* Принять предложение А. А. Блока».

Сохранились эти протоколы в бумагах А. Н. Тихонова, находящихся в Архиве Горького.

Думается, что документальные данные, нами здесь впервые публикуемые, по-новому освещают творческие взаимоотношения Александра Блока и Мариэтты Шагинян. И в ее биографии эта тема займет достойное место.